

ЧЕТЫРЕ ПЛЮС ПЯТЬДЕСЯТ

Эти стихотворные строки, написанные почти полвека назад, мало кому известны и сегодня. «Избранное» Анны Барковой, снабженное подзаголовком «Из гугаговского архива», недавно выпущено в Иваново тамошним университетом и местным издательством. Чуть ли не спустя двадцать лет после смерти открыта крупнейшая русская поэтесса, чье имя ставят в один ряд с Ахматовой и Цветаевой. Стихи, приводимые ниже, написаны А. Барковой между двумя арестами, вскоре после завершения войны.

Закоптелые и шершавые,
Шли мы Прагой, Берлином, Варшавою...
Воротились домой — безглазые,
Воротились домой — безрукие,
И с чужой незнакомой заразою,
И с чужой непонятной мукою.
И в пыли на базаре сели
И победные песни запели:
— Подайте нам, инвалидам!
Мы сидим с искалеченным видом.
Пожалейте нас, победителей,
Поминаючи ваших родителей.

Таких слов о победителях тогда, пожалуй, никто не произносил. А если и произносил, писал нечто близкое, ему был уготован тот же тернистый путь, что и Анне Барковой. Однако попытки понять, что же произошло и что впереди, предпринимались. Сегодня они могут выглядеть робкими, наивными. Они и были такими. Но это не основание отмахиваться от них, пренебрегать исканиями, в частности, театральных писателей.

Пьесе «Старые друзья» Леонид Малюгин написал в год окончания войны. Он стремился связать времена — те, уже отступившие вдаль, предвоенные, с новыми, наступившими вместе с миром. Тогда беззаботные ребята, кончившие десятилетку, собрались у любимой учительницы Елизаветы Ивановны, не подзревая: это — последняя мирная ночь. А когда кончится война, «старые друзья» снова навещат свою постаревшую учительницу. Но одного из них уже нет на свете, другой получил ранение. Нет и бывлой беззаботности. Однако сохранились чистота и непосредственность, поэзия не слишком сложная, но честных отношений. Переход от последних заплов к тишине настолько оглушающий, что, вероятно, объясняет слабость чувства исторической реальности. Понять такое можно, согласиться трудно. Отсчет ведется от предвоенного времени, воспринимаемого и тогда и сейчас как идиллическое. Война нарушила идиллию, теперь, после крови, блокадных мук, идиллия должна восстанавливаться.

Этот мотив — возвращение идиллии — присущ литературе первых послевоенных лет. Продержится он дольше, чем хотелось бы. Война не сразу углубила авторские представления о сущем, напротив, в каких-то случаях упростила шаблоны. Написанная еще в 1944 году пьеса К. Симонова называлась категорически — «Так и будет». Мир залет счастливого солнце: «небо синее, а трава зеленая», утверждает главная героиня.

В отличие от «Старых друзей», эта симоновская пьеса не пользовалась особым вниманием театров. Но для

Симонова, как и для Малюгина, несомненно совершенство до и послевоенного устройства. Однако легко ли разделить умонастроение «старых друзей», если у их родного Ленинграда позади 34-й год и непрекращающиеся репрессии, если позорная война с Финляндией превратила город в гигантский госпиталь! Уже в сорок первом Ленинград попадет в осаду, будут арестовывать невиновных. Кошмар блокады доведет до людоедства. Впечатление такое, будто все это не коснулось «старых друзей», иным из которых уготовано не «небо синее», а «небо в клетку». Именно здесь начнется чудовищное «Ленинградское дело».

Объективная реальность всего труднее дается современникам, особенно прошедшим войну с твердой уве-



ренностью: все страшное позади. Нужна была горькая мудрость А. Барковой, чтобы сказать о таких — «безглазые», почувствовать «чужую заразу» в своем доме. От драматурга трудно ждать пророчеств. Но речь о другом.

Умение оценивать прошлое с высоты новых дней дается донельзя трудно. Однако любая однобокость не ведет к добру. Опасен и культ прошлого, и культ будущего. В этом смысл замечаний, касающихся названных пьес. «Таня» А. Арбузова [1938 год] невольно отвергает однобокость жизневосприятия. Таня терпела неудачу за неудачей, уверовав сперва в любовь к Герману, и отвергая все остальное, потом только в любовь к сыну. Под конец такая же одержимая потребность уйти в работу, забывая о всем прочем.

Чем труднее время, тем сложнее человеку обрести себя. Особенно если он так противоречив, как Шура Ведерников — герой арбузовской пьесы «Годы странствий».

Человек проходит сквозь годы, и хотя исторический срок невелик, он успевает немало сделать, попутно совершая ошибки и не спеша возродиться к новой жизни.

«Если б я был писатель, — говорит Ведерников, — я написал бы книгу о человеческих заблуждениях, чтобы никто никогда не повторял их». Но книги не обладают таким воздействием. Не обладают им, судя по Ведерникову, и война. Она чаще всего подтверждает неизмен-

ность человеческой природы. Голодный Ведерников в пустой выставшей лаборатории одиноко бьется над препаратом, который должен помочь раненым. Приписывает авторство погибшему под Севастополем товарищу (тот подсказал одну идею), а сам теперь уходит на фронт.

Отдавая должное Ведерникову, не можешь избавиться от сомнений: не слишком ли велика цена его самоотверженности! Тем паче, что платили ее другие, перенося страдания. Достаточно было Шуру отказаться от гордого одиночества, обратиться за советом к специалистам, препарат был бы готов раньше.

Ведерников способен на неординарные поступки, на искреннее самобичевание. Он приходит к мысли, знаменательной в майские дни сорок пятого года: «Кому жизнь оставлена, с кого теперь особый спрос».

Кто спорит! Но раз «особый спрос», Л. Зорин настоятельно прислушивается к разговорам, что ведутся в эти дни. Его пьеса «Светлый май» охватывает двое суток. Рубеж между войной и миром. Радость, надежды, но и первые сигналы тревоги. Написанная через двенадцать лет после падения Берлина, двенадцать лет разочарований, она возвращалась к далеким надеждам и убеждала: еще тогда, в хмельные часы, выявились расхождения. Первые, едва обозначившиеся, но несущие зерна будущих бед.

Капитан Казаков, отвергая прошлое, надеется на новое время, на великую державу, родившуюся в День Победы. И снисходительно проезжает по поводу «интеллигентничания».

В стане победителей далеко до единодушия, и майор Костромин без обиняков называет Казакова врагом. «Это человек нереализованных возможностей. Могу стать командиром и не стал, могу стать предателем и не успел». Не став ни тем и ни другим, он чувствует себя героем-победителем, уверен: «Жизнь нам принадлежит». Но кто такие «мы», если ни генерал Толмачев, считающий себя интеллигентом, ни майор Костромин не поддерживают Казакова! Он и не нуждается в их поддержке, полагается, видимо, на своих новых союзников, единовольцев.

Конфликт, разумеется, сложнее и перспективнее, чем виделось драматургу. Однако он заметил: гитлеровцы разбудили аппетит хама. На него делал и делает ставку любой национал-социализм. Успей Казаков стать предателем, он разглагольствовал бы о другой «великой державе».

Предатель из Казакова по не зависящим от него обстоятельствам не получился [успел выбросить партбилет], расплылся перед немцами в уродливо виноватой улыбке, но тут подоспели партизаны, и теперь он переквалифицируется в «ура-патриота». Вариант удручающе знакомый. И огорчительно поздно замеченный.

У майора Костромина есть реплика: «Самые простые вещи понимаешь иногда с опозданием». «Вещи», которые имеются в виду, не самые простые. Понадобятся годы и годы, чтобы художники в них всмотрелись, осмыслили.

В. КАРДИН.